



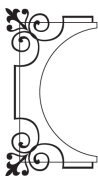
*Владимиру Гамерову*

*Мысль написать такую вот светлую и тёплую книгу о трогательном, хотя и нелепом в чём-то человеке пришла мне в начале тягостных месяцев проклятой пандемии. Я вдруг поняла, что читателю и так тяжело дышать, и так тесно жить; что его и так сейчас сопровождают болезни, горести и потери; читатель инстинктивно ищет в мире книг такое пространство и такую «температуру эмоций», где он мог бы не то что спрятаться, но войти и побыть там, легко дыша, пусть и грустя, но и улыбаясь.*

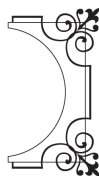
*Я поняла, что не хочу навешивать на своего читателя вериги тяжеловесных трагедий и — главное — не хочу убивать своего героя. Нет, пусть, сопереживая ему, читатель вздыхает, смеётся и хохочет — так же, как мы сопереживаем, читая прозу О'Генри, Гашека или Джерома, — хотя знаем, что жизнь человеческая полна разного рода невзгод и даже смертей. Я намеренно создавала образ человека любящего, трогательного, порядочного, а на каких-то поворотах судьбы отчаянно смелого и даже странного, отчего он не раз заслуживает от окружающих прозвище: «маньяк».*

*Дина Рубина*





## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДЕТСТВО ГУРЕВИЧА



### РОДИМАЯ ОБИТЕЛЬ...

Семья была врачебная, и это определяло всё — от детских игр до трагической невозможности нашёлкать градусник до тридцати восьми. Но с мамой и не забалуешь: резкая, властная, она каждому воздавала по заслугам и мнения при себе не держала: если сделал что-то умно и ловко, это у неё «нормально». Если плохо, пеняй на себя. Спросит только: «Ты идиот или прикидываешься?» «Нет, я не прикидываюсь», — возражал торопливо сын. Перед мамой всегда хотелось немедленно оправдаться.

Работала она в женской консультации № 18 при Октябрьской железной дороге. Проводницы, буфетчицы, билетёрши и контролёрши — весь женский железнодорожный состав — были её пациентками. Всё трудные советские судьбы, израсходованные советские тела.

«Суть маминой профессии, — заметил как-то папа, — увы, далека от поэзии».

«Суть твоей профессии, — немедленно отбила мама, — поэтичной тоже не назовёшь».

Папа, врач-терапевт, работал в психиатрической больнице. Был он красавец, романтик, член Пуш-

кинского общества; всего Пушкина знал наизусть, а взятки брал только книгами.

Работали оба на полную ставку, и потому маленький Сеня рос, как трава, — по телефону. Родителей видел редко, но слышал почти постоянно:

— Почисть картошку... Почистил? Порежь её кубиками, и с ножом там осторожней, без idiotских штук... Теперь набери в кастрюлю воды, примерно до середины...

Одной рукой мама держала телефон, а что там делала другой рукой, можно только вообразить. Как и многие медики, родители не слишком заморачивались иносказаниями, обсуждая при сыне трудные врачебные случаи, так что поначалу смутно, затем всё детальнее Сеня представлял панораму их профессиональных будней.

Когда сын простужался или выходил на каникулы (то есть когда маячил перед ним худосочный призрак мало-мальской *свободы мысли и воображения*), мама говорила: «Балду пинать?! Нет уж, дудки!» — и забирала Сеню с собой на работу. Там она его нагружала каким-нибудь медицински полезным делом: выдавала почковидный тазик, полный щепками, и Сеня эти щепки строгал перочинным ножиком. Затем наматывал на них тонким слоем вату — получались палочки для вагинальных мазков.

Мальчик трудился, он любил простую артельную работу: сиди-строгай, двумя пальцами вытягивай из комка ваты тонкую дорожку, наматывай её, думай о чём хочешь. Это и есть *свобода мысли и воображения*.

Веер вагинальных палочек в металлическом стакане — привычная с детства картина...

...Бывало, и папа брал его с собой на работу, и это было куда интересней.

Городская психиатрическая больница № 6 размещалась на территории Александро-Невской лавры. Сеня с папой выплывали из-под земли, от метро брали вправо, переходили Невский у самого-самого последнего дома и по узкой дорожке (серый зернистый асфальт, щербатые поребрики) шагали между некрополей в ручейке очень странных людей: семьящих старушек в чёрном, юношей с распущенными, как у русалок, власами, мужчин в длинных чёрных платьях.

Давным-давно папа объяснял, что дамские мужики — это священники, а патлатые юнцы-русалки — их студенты.

Дальше — мост через речку Монастырку, и вот она, Лавра.

Летом за воротами Лавры очень красиво: всюду розы, розы... В их спутанной багряно-белой волне утопли всеми позабытые (даже буквы стёрлись!) могильные камни.

Но ручеёк чёрных старушек, женщин в косынках, длинноволосых юношей струился дальше, к самому сердцу Лавры — Свято-Троицкому собору. На православные праздники здесь собирались толпы верующих. Мощный и невесомый одновременно, он царил над купами деревьев, над мраморными и каменными надгробиями, над речкой и кустами-цветами...

Папа никогда не упускал случая втемяшить сыну какую-нибудь историческую или архитектурную дребедень: «Видишь, — говорил, — шлем купола тяжёлый, лежит на подпорке такой с шестнадцатью окнами, называется «барабан». У папы спра-

шивать что бы то ни было просто опасно: тебя занесёт пургой непонятных слов, сам не рад будешь, что спросил. И от стихов не отобьёшься, зажузит роем пчёл:

Когда великое свершалось торжество  
И в муках на кресте кончалось божество,  
Тогда по сторонам животворяща древа  
Мария-грешница и пресвятая дева  
Стояли две жены...

Как это — две жены? Бабушка Роза говорит, что порядочный человек худо-бедно обходится одной женой. Вот у папы худо-бедно — мама, у деда Сани — бабушка Роза. Может, кто-то шустрый хапнет сразу двух жён и хвастается: а у меня, мол, их целых две, не худо и не бедно!

Их путь пролегал через всю территорию Лавры. Если не слишком торопились, они заглядывали в любимый уголок: от стены храма влево бежала дорожка к заброшенному кладбищу. Здесь в центре позабытого всеми некрополя высилась башня: тоже всеми заброшенная и позабытая, грустная заколоченная церковь. Обойдёшь её, а там — спуск к совсем уж деревенской речке, где плавают утки, а в высокой сочной траве по берегам — брызги жёлтых одуванчиков. И шмели гудят, и зеленовато-белых капустниц ветерок носит, как на даче. Прямо не верится, что это — центр города.

Среди старинных склепов, каменных ваз и крестов с выбитыми на них полустёртыми буквами можно ходить часами, осторожно пробираясь между надгробиями.

— Не наступай на могилы, — каждый раз напоминал папа, — уважай покой мёртвых. *Решётки, столбики, нарядные гробницы, Под коими гниют все мертвецы столицы...*

А вот главное: над изгибом речки, на откосе стоит полуразрушенный склеп с башенкой — окна запылённые, в паутине, кое-где даже разбитые. Сказочный домик крепко уснувшей, да так никем и не разбуженной Спящей красавицы.

Но под решётки окон кто-то подсовывает маленькие пластмассовые розы; иногда придёшь — а там новые. Это усыпальница Анастасии Вяльцевой, старинной певицы такой. Папа рассказывал, что до революции к её ногам *бриллианты бросали*, слава гремела по всей России, а умерла она совсем молодой, от чахотки. Мама говорит, тогда все от чахотки умирали: ноги промочил, вот тебе чахотка. Ну и забыли её совсем, тем более что романсы уже не в моде. Хотя приходит же кто-то, цветы приносит...

Однажды зимой они видели протоптанную в снегу тропинку. Там у склепа человек стоял — бородатый, *особенный*, голову так задумчиво склонил. Красиво и печально, как на старой открытке, Сеня даже засмотрелся. «Ладно, — сказал папа, — пошли, не станем человеку мешать, пусть скорбит. ... *чтоб долго образ милый Таился и пылал в душе моей унылой...*»

Сеня спросил: «Он её возлюбленный?» — «Ты спятил? — удивился папа. — Все её возлюбленные давно в земле сырой...» Ей-богу, папа так и выразился, причём всю жизнь, посреди обычного рабочего дня. «Тогда чего скорбеть», — подумал Сеня.



Словом, Лавра — это была беспредельно-отдельная страна внутри города, которую они проходили из конца в конец, пока на задворках не упирались в глухой забор и неприметную железную дверь *папиной психиатрии*. Когда-то — духовное училище, ныне — жёлтый дом, психушка, это здание обособленно и угрюмо стояло среди высоких деревьев.

В наши дни, в эпоху террора школьных психологов, подобные посещения ребёнком сумасшедшего дома выглядят по меньшей мере возмутительными. Но Сенино детство протекало в открытом и любознательном мире прилюдных драм и мордобоев, трагических судеб, увлекательных похорон, весёлых поминок и распахнутых во все стороны детских глаз.

Сумасшедший дом был пристанищем людей необыкновенных. Папа называл их больными, но Сеня приглядывался к каждому, подмечая крошечные... ну совсем чуть-чутные признаки притворства. В целом тут была спокойная, даже задумчивая обстановка: люди в пижамах двигались медленно, обстоятельно, казались погруженными в свои мысли. Впрочем, изредка кто-то кричал, как раненая птица, и тогда все остальные замирали и прислушивались. А того, кто криком пытался прорваться за пределы этого мирка, *брали в ординаторскую*.

— А что там с ним делают? — беспокоился Сеня. — Наказывают?

— Ну что ты, милый, — отвечал папа. — С ним беседуют. Если надо, добавляют лекарств...

Здесь у папы был свой кабинет с самой спартанской обстановкой: письменный стол, стул, кушетка, кардиограф и шкаф с историями болезней. Дверь без

ручки закрывалась на «психиатрический» ключ, окно было забрано мощной решёткой.

Но за окном... Там росли старые клён и берёза. Стояли в страстном переплетении ветвей так тесно, так близко, будто муж и жена, прожившие целую жизнь: артритные, скрюченные, вечно вместе, так что и не разобрать, где кто, они будто противились расставанию. Осенью клён становился розовым, потом загустевал багрянцем и пламенел, а берёза плескалась прозрачным и звонким золотом. Окно волновалось и вскипало золотом и багрецом, комната преображалась, и сама радость вскипала и ломилась в окно, торжествуя и чего-то настойчиво требуя.

Но Сене и зимой совсем не скучно было крутиться здесь целый день: он *был на подхвате*. И понимал, насколько это серьёзно: это вам не вагинальные палочки строгать.

Папа осматривал соматических больных, делал кардиограмму, потом расшифровывал её с помощью циркуля; Сеня же собирал разбросанные по всему кабинету ленты кардиограмм и вкладывал в истории болезней. Почерк у папы был совершенно невозможный, и потому он диктовал сыну даты и фамилии больных, а тот писал их на карточках крупно-разборчиво.

В присутствии ребёнка папа, конечно, принимал только *спокойных больных* — их приводили санитары. Это были замедленные, слегка потерянные люди в застиранных халатах без пуговиц и кушаков. «Почему?» — спросил как-то Сеня. «Пуговицы сожрут, на кушаках повесятся», — ответил папа. Никогда Сеня не понимал: шутливо или грустно папа объясняет такие вот ужасные вещи. Пока он беседовал с пациен-

том, а тот кутался в халат, покачиваясь на стуле, как метроном, Сеня скашивал глаза на тумбочку с историями болезней и вычитывал из открытой страницы нечто малопонятное, но завораживающее:

*«Психический статус: двигательно беспокоен, тревожен, ходит по палате взад-вперёд, с опаской озирается по сторонам. Даёт о себе некоторые анамнестические сведения, но не датирует основные события своей жизни, не помнит, когда окончил школу. Говорит с напором, повышает голос, речь приобретает характер монолога. Родителей считает неродными: “они только притворялись, а квартиру дал лично Сталин”. Темп речи ускорен, суждения непоследовательные, противоречивые. Сообщил врачу, что “знает 18 иностранных языков, а понимает ещё больше, имеет 6 высоких предназначений”. Понижает голос, прикладывает палец к губам, со значением смотрит на врача и шёпотом произносит: “Чтобы ОНИ не услышали”. Критики к высказываниям нет».*

Больше всего Сеня любил, когда папа слушал больных. Иногда папе так нравились какие-то хрипы в лёгких, что он подзывал сына, вставлял ему в уши стетоскоп и просил больного глубоко дышать. Больной старательно дышал, глядя на мальчика послушными медленными глазами, а папа спрашивал: «Ну? Что ты слышишь?» — и сердился, если Сеня не слышал ничего.

Словом, детство Сеня провёл между женской консультацией и психбольницей, строгая шепки для вагинальных палочек или разглядывая психов.

Это отразилось на его дальнейшей судьбе: Сеня всю жизнь любил и оберегал женщин, но работал с сумасшедшими.

\* \* \*

Он рос болезненным ребёнком, и не как другие хилые ленинградские дети, а экстремально болезненным. Папа говорил, что Сеня — не человек, а медицинский случай и в этом качестве его непременно надо вставить в учебник по педиатрии. Всеми хворями, какими нормальные дети болеют по одному разу, Сеня болел трижды. Дорогуший профессор Тур — растерянные родители приглашали его, когда сын заходил на третий круг с какой-нибудь ветрянкой — стоял над мальчиком, опухшим, или покрасневшим, или покрытым волдырями, и говорил: «Этого не может быть!». «Но вот же он перед вами!» — восклицала мама чуть ли не с торжеством. Своим жалким существованием этот ребёнок буквально разорял семью.

Между тем мама никогда не брала денег со своих пациенток. От конфет не отказывалась, конфеты были валютой: их передаривали учителям, врачам и нужным людям в жилищно-эксплуатационной конторе. Конфеты быстро уходили, но иногда возвращались к дарителям — как корабли, помятые штормами, возвращаются из кругосветного плавания в старые доки.

Однажды кто-то из гостей подарил маме роскошную коробку конфет цвета спелого граната с тиснёной гирляндой золотых роз. Когда гости ушли, мама глянула на срок годности и вздохнула: этот корабль надо было списать три года назад. Она была сурова во всём, что касалось свежести любого продукта. «Коробка знакомая... — пробормотала мама. —

Смутно знакома мне эта коробка». И перед тем как выбросить, в неё заглянули из любопытства; к тому же Сеня любил серебристые и золотистые листы пухлой бумаги, что покрывали ряды конфет. Он делал из них голубей; запущенные с третьего этажа, те сверкали на миг под небом двора-колодца, поймав солнце на острое крыло.

В коробке поверх седых от времени конфет лежала поздравительная открытка «С днём Восьмого марта!». «Точно, — сказала мама. — Это мои конфеты, я их дарила Сильвии Платоновне пять лет назад».

Ленинград всегда был городом голодным и холодным: фрукты — только на рынке, да за бешеные деньги. Но доктор Гуревич, мама то есть, наладила поставки через благодарных пациенток: фрукты-овощи ей доставляли проводницы поезда Ленинград — Одесса.

Само собой, мама за всё платила, но стоили эти фрукты — трёшка ведро. Да и не в этом дело. Что за яблоки были там, что за персики! Черешня — с детский кулак! А вишня, кровавая россыпь вишни! А пунцовые помидоры «бычье сердце» — они разве что не пульсировали в ведре!

За два-три дня дороги фрукты дозревали, потом наливались, потом слегка подплывали... и начинали мироточить и пахнуть, как сам слегка подгнивший, слегка подплывший райский сад.

Недели на полторы их коммунальная квартира пропитывалась сладкой истомой зрелого августовского рая. Неподготовленный субъект, ступив на порог, просто падал навзничь с застывшей улыбкой.

«Жрите, идиоты, пока всё не испортилось!» —

кричала мама. И Сеня с папой наваливались на фрукты. Спорить с мамой — себе дороже. Велено жрать, значит, надо подналечь и исполнить.

Оставшееся «закручивали»...

Это было прекрасно, но и ужасно: с приближением сезона Сеня с папой начинали тосковать в покорном ожидании своей рабской участи на плантациях домашней консервации. Мама загодя покупала трехлитровые банки, отдельно, где-то по благу доставала крышки с тонкими резиновыми ободками по внутренней кайме. Стекло тара кипятилась в тазу-на газу...

Огромными щипцами банку обхватывали за горло, вынимали из кипящей воды и ставили на растеленные чистые полотенца. Мама — в фартуке, с волосами, убранными под косынку, — была очень уместна в этом производстве: будто, стерилизуя банки для консервации, применяла профессиональные навыки: наложить щипцы на головку ребёнка и вытащить его из обессиленной материнской утробы. Сеню сажали выковыривать из вишен косточки. Мама вручала ему шпильку, и налаженным движением мальчик ловко выуживал косточку, слегка надавливая на кругляш ягоды.

(Да, он с детства любил простую артельную работу, она освобождала мысль, запускала чудесную шарманку его пылкой, папа говорил — *маниакальной фантазии*. Странно, что в дальнейшей жизни он занимался самым, ну, самым неартельным делом!)

Затем из кладовки выплывал жутковатый механизм: машинка для закатывания овощей и фруктов. Эта штука (сбоку — ручка) насаживалась на банку, и ручку крутили. Три-четыре оборота... и горловина банки оказывалась в плену удавки!

*Лет сорок спустя Гуревич опознал, как родную, точно такую штуковину: в Кордове, в Музее инквизиции, в средневековой камере пыток.*

Словом, это была фабрика по закатке овощей и фруктов. Сезонное производство зимних запасов на одну маленькую семью: по сорок банок расставлялось на полках кладовки. Но глубокой осенью и зимой...

О, в холодные тёмные дни эти драгоценные слитки солнечного света являлись из кладовки и открывались с почтительной нежностью, источая благоухание садов далёкого юга. Из золотого сиропа вынимался персик или черешня, ломтик груши или айвы, сливы или яблока, даря простуженному горлу и вечно заложенному носу неопишущую сладость и аромат райских угодий.

\* \* \*

Дом стоял примечательно: во дворе кинотеатра «Молния» на Петроградской стороне. Квартира коммунальная, но малосемейная. Помимо Гуревичей в ней проживали Курицыны — дядя Паша, тётя Надя и сын их Юрка, по кличке Курицын Сын, ровесник младшего Гуревича. Третью комнату занимала милейшая и добрейшая Полина Витальевна, от которой, тем не менее, никакого продоху не было: во-первых, она вечно толклась на кухне, пекла свои пироги, во-вторых, по-соседски приглядывала за мальчиками, когда те возвращались из детского сада, а потом и из школы. Им обоим она была нужна, как собаке пятая нога: мальчики дрались, мирились, бились об заклад, ругались и снова дрались... словом, отлично ладили!

Это Полина наябедничала маме, когда младший Гуревич, окончательно изведённый Курицыным Сыном, пустил тому в глаз струю через замочную скважину. И то было не нападением, а хитроумной защитой: Юрка весь день стрелял в него водой из какой-то мерзкой резиновой пищалки. Незаметно подкрадывался, окликал и, когда сосредоточенный на игре Сеня оглядывался, прыскал тому водой прямо в морду. В конце концов разъярённый и мокрый Сеня погнался за ним по коридору, чуть не сбив с ног Полину Витальевну, а Юрка заперся в их комнате и ни на какие уговоры и клятвы *пальцем не тронуть* дверь не открывал.

Тогда Сеня приволок из прихожей пачку старых газет, перевязанную бечёвкой, вскочил на неё и спустил штаны — плевать на Полину с её дурацкими пирогами! «Хорошо, — сказал Сеня, — положим, ты идиот и не веришь, что я — благородный. Чёрт с тобой. Просто хотел тебе кое-что показать. Охренительное... Можешь сидеть там хоть тыщу лет, хоть до Нового года, глянь только в скважину».

И Юрка купился, как курицын сын! Как только он запыхтел за дверью, прилаживая глаз к скважине, Сеня тоже прилажился... и врезал ему острой струёй прямо в глаз!

Это был второй случай, когда мама отлупила Сеню скакалкой. Между прочим, чувствительно: скакалка-то резиновая. Сын орал для проформы, папа же кричал по-настоящему — от жалости, спасти пытался. У папы любимое слово было: «образумься!».

Если кто думает, что скакалка Сенина, так это чушь собачья: что он, девчонка — прыгать через верёвочку? Она была маминым спортивным инвентарём с тех пор ещё, как мама пыталась сбросить



пару кило и по утрам в воскресенье усердно и тяжело себя вздымала: сначала на одной ноге, потом на другой, затем обеими. Но однажды кто-то из нижних соседей явился спросить, что происходит и почему цирковой бегемот гастролирует именно по воскресеньям, когда люди хотят всего лишь выспаться, к чёртовой матери? И мама угомонилась...

\* \* \*

Комната у Гуревичей была необъятная, сорокаметровая, с дворцовой высотой потолков — метров пять. Восхищение гостей милостиво принимала голландская изразцовая печь с медной дверцей. Белая королева, поверху она была украшена зелёной лепной короной под самый потолок.

Ещё им в наследство достался от предыдущих неизвестных жизней, возможно, и с царских времён, могучий дубовый стол на резных слоновьих ногах — абсолютно неподъёмный. Потому его здесь и оставили, говорила мама, силёнок не хватило вынести.

Стол драгоценный был — для Сени. Если снизу подлезть, на исподе столешницы обнаруживались длинные потайные ходы и сложные извилины, похожие на ласточкино гнездо. В них Сеня много чего хранил: солдатиков, три пустые бутылочки из-под коллекционного коньяка; наворованные впрок конфеты «Золотой ключик» и срезанную с шубы Курицыной мамы большую зеркальную пуговицу, в которую можно было смотреться, как в кривое зеркало в парке аттракционов, строя рожи и шёпотом дразня того, кто оттуда пялится, «кромешным идиотом». Сокровищницей тайн, вот чем для мальчика был обеденный стол с потайной изнанки.

Время было скромное, рукодельное, игрушки берегли годами, латали-подновляли и почитали, как дряхлых родственников. Под диваном хранился картонный ящик от давней посылки, и в нём отдыхали, ожидая выхода к игре, всего пять-семь персонажей. И все были милыми и родными, все — с огромным опытом в партизанских войнах и диверсиях, в предательстве и шпионаже, в диких набегах, в *сумасошлатой* любви, с последующими грандиозными свадьбами и похоронами. У всех Сениных игрушек была жестокая судьба на разрыв сердца, с каскадом невероятных трагедий!

Грустный Медведь переходил от одного поколения родственников и знакомых к другому, за ним тянулся шлейф имён, как за немецким аристократом, но каждый следующий ребёнок придумывал ему какое-то своё имя, так что со временем, пообтрепавшись, мишка просто стал Грустным Медведем.

Он пережил падения и взлёты, голод, блокаду, эвакуацию в Самарканд с маминной двоюродной сестрой; возвращение уже с новым хозяином, её младшим братом, — так как сестра подросла, в десятом классе влюбилась в комсорга школы и сделала тайный аборт, который необъяснимым образом лишил её права на плюшевого друга. Грустный Медведь попадал в различные передряги, гордился рваной (и зашитой) раной в боку; Сеня и сам иногда его оперировал под наркозом, тщательно зашивая хирургический разрез.

Все его проплешины и боевые ранения были скрыты под белой вязаной безрукавкой с двумя зелёными пуговичками на плече. И об этой безрукавке можно писать роман, не сходя с этого места!

Пятьдесят лет назад она была связана папиной бабушкой для новорождённого дяди Пети, папиного старшего брата, а после Пети пошла по дальнейшим поколениям детей. Её тронула моль, её многожды штопали, много стирали. Последним из теплокровных её носил до полугода сам младший Гуревич, и уж только потом её передали в вечное пользование Грустному Медведю.

Другими обитателями картонного ящика были уважаемые ветераны, задиры и дуэлянты: два Петрушки из аэропортовского сувенирного киоска, одетые в косоворотки и жёлтые атласные штаны, обутые в настоящие крошечные лапти. Сеня сам их обшивал, облакая матерчатые туловища в потребные действию одежды. Это был достойный гардероб: красная ряса кардинала Ришелье, мушкетёрский плащ с большим крестом на спине. Перед смертельным поединком в правую руку каждого вставлялась использованная медицинская игла — и это были шпаги:

«Сударь, я отправлю вас ко всем чертям прямо в ад!!!».

«Возьмите свои слова обратно, сударь, не то я воблю их вам прямо в глотку!!!».

В дуэльном угаре мушкетеры-Петрушки втыкали шпаги в матерчатые тела друг друга, умирая страшной смертью! Затем воскресали...

Был ещё взвод оловянных солдатиков штамповки такого качества, что лица у них ничем не отличались от затылков. В сущности, это были грубые куски металла. Но при наличии фантазии тут открывалось поле поистине бесконечных сюжетных возможностей.

Папа говорил, что у Сени маниакальное воображение; что он не чувствует грани между игрой и реальностью; что, в сущности, он постоянно прописан в своих фантазиях, не желая возвращаться назад, в *просто жизнь*. И потому ему будет трудно существовать *в социуме*. Папа говорил это не Сене, а маме, когда думал, что сын уже спит. Но Сеня не спал. Он играл сам с собой в войну злых и добрых пиратов. Надо было лежать вмертвецкую, чтобы обмануть злых. Эх, жалко: если б удалось протащить в постель столовый нож, то ночью можно было бы заколоть маму или папу, злых пиратов. Что такое *социум*? Где это? Если там такая же деревянная уборная с вонючей дырой, как в Вырице, даром ему этот социум не нужен!

«Ребёнок как ребёнок, — отозвалась мама раздражённым шёпотом. — Я тоже бог знает что выдумывала в детстве!»

\* \* \*

И вот как-то Сеня играл себе и играл. У него был чемпионат мира по бегу на четвереньках вокруг стола. Паркетный старинный пол совсем разошёлся, кое-где из него даже щепки торчали, так что Сеня предусмотрительно привязал к обеим коленкам думки с дивана. В забеге участвовала прорва команд со всех концов земного шара. За Чехию на диване сидел Медведь, за Англию под диваном валялся Петрушка-Ришелье... Сеня бегал за всех, замеряя результат по секундной стрелке синего будильника. Когда бежал за Америку, слегка замедлялся. Зато Советский Союз побеждал во всех видах забега!

В разгар игры из своей психбольницы вернулся папа.

Папа высоким был, стройным, в серой фетровой шляпе, в длинном сером пальто. На нём вся одежда сидела, как на киноартисте Баталове. Бывают такие люди...

*К сожалению, младшему Гуревичу это не передавалось. Любая новая и дорогая вещь сидела на нём, по уверению его жены, как на корове седло, и вечно он выглядел, говорила она, как «совхозный бабай».*

— Привет, сынок! — сказал папа.

Нет, тут надо вот что пояснить.

Папа был мягким и участливым человеком, он всем старался помочь. Он стремился помочь даже тогда, когда ничем помочь не мог, да и никто от него этого не требовал. Всегда шёл провожать гостей до остановки трамвая, выбегая из дома в чём был: в линялых трениках, замызганном свитере. И, сажая гостей на трамвай, заботливо спрашивал: «Три копеечки есть? А у тебя есть три копейки?». Сеня, уже подростком, как-то спросил: «Пап, зачем ты выясняешь, есть ли у человека три копейки, если вышел в тряпье без карманов, и у тебя самого ни копыя, и ты вообще похож на бомжа?» «Я не могу не спросить», — ответил папа. «А если кто-то скажет, что денег нет? Что ты сделаешь?» «Не знаю... — папа пожал плечами. — Но не спросить не могу».

Он всегда пытался занять сына *интеллектуально*, заинтересовать чем-то прекрасным, увлечь. Бывало, сильно мешал... Когда видел, что сын чем-то занят, а Сеня всегда был страшно занят, он пытался включиться в игру на равных, даже когда это выглядело ужасно глупо, даже когда Сене хотелось, чтобы Пушкин уже отдохнул.

И вот папа явился из своей психушки посреди игры, посреди дистанции, которую блистательно одолевал на карачках финский спортсмен Матти Хейкинен.

— Ты как, сынок? — спросил папа. — Что за игра?

Сеня доложил, что в данный момент у него чемпионат мира по бегу вокруг стола.

— Что за фигня, — хмыкнул папа. — Ерунда какая-то для младенцев.

— Младенцев? — возмутился Сеня. — Знаешь, как трудно бежать на четвереньках! Это новый вид спорта: попробуй!

Папа, не снимая шляпы и пальто, опустился на корточки и приказал:

— Засекай время!

...и оголтело ринулся прыгать вокруг стола, мгновенно вогнав себе в колено огромную занозину от старого рассохшегося паркета. Плоская широкая щепка с пиковым остриём — она, как нож, вонзилась ему глубоко в сустав.

Папа с воем повалился на спину, Сеня хладнокровно проорал:

— Финский спортсмен сошёл с дистанции!

И в этот момент с работы пришла мама.

Ну, дальше не интересно, дальше происходила *просто жизнь*: приехала «Скорая», папу забрали в больницу, кромсали там его колено под местным наркозом, вынимали занозу, накладывали швы...

И три недели потом он скакал на костыле и шутил, что это новый такой вид спорта. Иногда говорил сыну: «Он видел стремительный бег колесниц... Засекай время до туалета и обратно!» — взма-

хивал костылём и вопил: «На старт, внимание... арш!!!»

Мама же говорила:

— Почему у всех дома люди как люди, а у меня два идиота?!

\* \* \*

Комната была многовариантным местом обитания. С утра — гостиной и столовой, ночью — спальней.

Родители спали на раскладном универсальном ложе. Днём это был просто зелёный диван, обивка в мелкий рубчик; на ночь диван раскладывался на две разновеликие части. Мама — она была полной женщиной — вольготно раскидывалась на широком сиденье дивана, худой папа спал на боку на отложенной спинке, в узком пространстве между стеной и супругой. Мама во сне всегда его теснила, и утром, собираясь в детский сад или в школу, Сеня наблюдал, как папа, тощей шпротой притиснутый к стене, досыпает «ещё крошечку».

Сеня же спал на раскладном кресле, которое, дабы не свалилась подушка, упирали изголовьем в изразцовую печь.

Беспокойное было местечко: по ночам в печи шла оживлённая жизнь, звучали голоса, обрывки песен; иногда кто-то вскрикивал — то угрожая, то обольстительно урча... Сене часто снились сны, в которых разыгрывались сцены между таинственными печными обитателями.

Однажды за ужином он обронил, что в печке по ночам разговаривают какие-то дяди и тётки. Кричат и сильно ссорятся, а иногда хохочут или хором поют.

— Поздравляю! — выдохнула мама, глядя мимо Сени на папину макушку, склонившуюся к чашке чая. — Приехали: у ребёнка психоз. Тут у нас, кажется, был где-то специалист? Давай-ка, звони Загребенному. Пусть пропишет что-нибудь успокоительное.

*Вполне возможно, что детский психиатр Николай Павыч Загребенный прописал бы Сене нечто успокоительное, и тогда, спустя лет пятьдесят, Гуревич навсегда был бы прописан по успокоительному ведомству и вязал бы салфетки или клеил коробочки. Уж такими были этапы — на большом пути из варяг в греки — в отечественной психиатрии.*

*Но за два дня до назначенного визита произошло вот что.*

В гости к ним приехала семейная пара дальних родственников из Казимировки. Гостей, как полагаются, на ночь обустроили со всем хлопотливым радушием, постелив им на родительском диване. Папа с Сеней легли на полу, а вот мама разместилась на том самом злосчастном кресле, изголовье которого упиралось в печную заслонку. И среди ночи раздался вопль: мама вскочила, перебудив не только гостей, но и всех соседей. Она кричала, что с ней кто-то разговаривает из печи, издевается, угрожает и хихикает, что она явственно слышит мерзкое вытьё, и бабий визг, и какой-то безумный хор алкашей с неразборчивыми матерными куплетами.

Вызванный наутро рукастый и головастый, хотя и не всегда трезвый, мастер Гена обследовал чёртово логово и сказал: печь как печь, умели когда-то рабо-



тать на совесть. Просто давно, может, ещё при царе, кто-то забыл закрыть выюшку, *положить в дымоходе блинок на бортик*, вот ветра и врываются из воздушных просторов, распевая свои разухабистые песни.

Так Сеня был реабилитирован и спасён от медикаментозного лечения по советскому психиатрическому протоколу.

*Кстати, именно эти пережитые в детстве хриплые свары бородатых-мордатых церберов, что срывались с цепи чуть ли не каждую ночь, визжа и гогоча ему прямо в уши, много лет спустя помогли пережить тоску остервенелых зимних ветров пустыни Негев; а там есть где разгуляться ветрам.*

*Жаль, мамы тогда уже не было. Она бы впечатлилась...*

\* \* \*

Гораздо позже, будучи отцом семейства и отирая с женой друг о друга бока и задницы в кухоньке съёмной квартиры, Гуревич вспоминал жильё своего детства, пытаясь понять: почему из такого просторного помещения родители не сделали удобной полноценной квартиры? Ведь можно было выгородить и нормальную спальню, и уютную детскую. А деревянные антресоли — при этакой-то высоте потолка! Он видел такие в квартирах у кое-кого из сокурсников: второй полуэтаж, а там: стеллажи книг, письменный стол с настольной лампой, глубокое кресло. Снизу это выглядело стильно, театрально, неуловимо *иностранно...*

Но однажды догадался: они с родителями так редко виделись «вне расписания», что совсем не испытывали потребности разбежаться по своим закутам.

Воскресных дней он ожидал со свойственной ему тревожностью. Целую неделю готовился, мысленно себя приближал: вот уже понедельник, а понедельник — это почти среда; среда же — это такая карусель: сядешь — крутись, и когда-нибудь круг закончится. За средой вынырнул четверг, лёгкий день, быстрый день, он уже, считай, катится в пятницу. А пятница — надёжный трамплин в субботу-воскресенье. Пятницу, в сущности, можно вообще не брать в расчёт.

«Увидев наконец родимую обитель, Главой поник и зарыдал...» — неизменно повторял папа, открывая дверь сыну, вернувшемуся из школы. Да нет, наоборот, — хотелось крикнуть: увидев наконец родимую обитель, малец от счастья зарыдал! (Что касалось рифмовки, за Сеней ни одной реплики не ржавело. Тем более в пятницу!)

Сеня дорожил каждой минутой, которую проводил вместе с обоими родителями. Необъятное воскресное утро — бескрайняя степь разреженного времени на вершине недели, длинный выдох после спрессованных будней. Долгий ленивый завтрак, насмешливые перепалки, словесные стычки, взрывы смеха, шорох газетных страниц. Какой-то дурацкий концерт по телевизору — *поговори со мною, мама*; сладкие, вдогонку сну зевочки. Утро тянется, тянется, тянется...

Всю жизнь он помнил одно воскресное ноябрьское утро, не слишком примечательное. Но избирательность памяти, но странная тяга к застывшим картинкам, застрявшим в пазухах детских воспоминаний...

В двух высоких окнах комнаты кипела белая ку-терья: там сшибались, сбивались в жирные охапки, ломились в дрожащее стекло порывы метели, — казалось, стекла сопротивляются из последних сил. Зато в доме было тепло, и, кроме пятирожковой люстры, горела его любимая лампа под зелёным стеклянным колпаком.

Её включали нечасто и ненадолго: считалось, что зелёное стекло слишком перегревается. У лампы было имя, то ли японское, то ли цирковое: Ардекó; лампа в семье почему-то пользовалась почётом: «Включи Ардекó, только осторожней с плафоном, он родной!». Воскресные завтраки были особенными ещё и потому, что их освещала *родная Ардекó*, смешивая свой простодушный весенний свет с тусклым и всегда заваливающим светом в окнах — те выходили в обычный ленинградский двор-колодец.

Мама нажарила блинов, они лежали на блюде кружавистой горкой. В серёдку блина с ножа спускали кусочек сливочного масла, тот плюхался и растекался пенистой лужицей; сверху вываливали и расправляли по блину ложку повидла или джема. Затем блин обстоятельно заворачивали конвертиком или подзорной трубой. Только к глазу не поднесёшь: всё потечёт по руке, однажды такое уж было... Про нож и вилку знаем, не маленькие, но интереснее же взять самому, наклониться, откладывать зубами и жамкать добычу, представляя, что ты крокодил. Или бенгальский тигр! *Прекрати строить жуткие рожи...*

Родители, как всегда, обсуждали что-то своё, врачебное, спорили, перебивали друг друга, перескаки-

вали с темы на тему, вскрикивали, порой хохотали. У мамы был бархатный раскатистый смех, папа кричал, как утка.

У мальчика всё внутри замирало от умиротворения: он блаженствовал, он тихо таял... Переводил взгляд с отца на мать... а снег за окном взрывался и крутился в заполошной свалке, будто свора белых болонок сбежала из цирка и носится как угорелая. Если смежить веки, сияние Ардеко затопляло комнату волнистым струением речных водорослей. Не верилось, что впереди — зима...

Мама вышла и вернулась из кухни с голубым эмалированным чайником.

— Осторожно, чтобы я вас не обожгла! — объявила и поставила чайник в центр стола на круглую чугунную подставку.

— *Приют пиров, ничем невозмутимых...* — проговорил папа голосом «на цыпочках». И потянулся за сахарницей.

Сеня сидел, смотрел в круто-голубую сферу чайника, наверняка ужасно горячего, и думал: а если бы мама не предупредила и я бы коснулся его? Как можно проверить, не касаясь, — обжигает или нет? А, вот как: плюнуть! Если чайник горячий — плевок зашипит!

Сеня был изобретательным мальчиком. Папа говорил, что у него парадоксальный ход мыслей и интересные отношения с реальностью. Он стал собирать во рту всю наличную слюну для полноценного научного опыта.

Мама в эту минуту рассказывала, какой невероятный букет роз преподнес ей вчера один счастливый немолодой папаша. (Прямо из Сочи,

представляете?!)) И как ей показалось некрасивым унести это богатство домой, и она разобрала букет и оделила всех женщин: медсестёр, нянечек, регистраторшу. Себе оставила только три, но прекрасные розы... А уходя, столкнулась в дверях со старенькой Марией Романовной, их многолетней уборщицей. Лет тридцать та махала у них шваброй, а сейчас уходила на пенсию по состоянию здоровья.

— И вот она стоит и смотрит на мои розы, будто Богородицу узрела! А они бордовые, атласные, на длиннющих стеблях! Ну... и я ей, конечно, сразу их вручила!

Обеими руками мама охватывала перед собой пузатую пустоту: «Во-от такой был огромный куст! Представить страшно, сколько денег отвалено. И совершенно живые — они дышали, дышали! А запах головокружительный, даже хлорку нашу перешибал!»

Сеня, наконец, подсобрал достаточно слюны, подался вперёд и харкнул на чайник роскошной шипучей блямбой. Чайник и правда оказался ужасно горячим. Опыт удался!

Мама запнулась и опустила руки... Она не смогла сразу найти в себе переключатель регистров на ругань, что с мамой крайне редко случалось. Сидела и молчала, уронив на колени раскрытые ладони, из которых, казалось, только что выпал тот огромный букет роз.

Папа прокашлялся и мягко проговорил:

— Сынок, ты к чему это... э-э...?

— Идиот, — сказала мама упавшим голосом. — Испортил такое утро!

## КУРИНАЯ ТЕМА РОКА

Соседка их, милейшая старуха Полина Витальевна, обладала талантом находиться (и всем мешать, и всюду встревать!) сразу в нескольких местах квартиры. Она была помешана на пирогах. Каждый день разогревалась духовка, взбивались яйца, заводилось тесто, постным маслом протирались противень... и минут через сорок на свет выплывал из духовки очередной румяный красавец с брусникой, с яблоками, с грибами или с курятиной.

Курятина, ох...

Гуревич не прикасался к ней всю жизнь, аллергией отговаривался. Хотя дело-то совсем не в аллергии.

Дело было в том, что мама, при всей суровости характера, очень любила животных. В её детстве у них в Ростове жил поросёнок Филя — умненький, уютный и, мама говорила, «очень деликатный!». Он жил прямо в доме, как домашний пёс, и семилетняя мама всюду бегала с ним, держа палец в колечке хвостика. Всю жизнь потом горевала, что не разрешили забрать его в поезд, увозивший её и бабушку Розу в эвакуацию.

А однажды девочка-мама нашла в кустах ежа. Очень волновалась, чтобы тот не замёрз, долго подыскивала ему подходящий ночлег, пока не нашла очень удобную норку: дедов сапог. Молодой в то время дед Саня, авиационный инженер, работал в технической службе аэропорта. И именно той ночью что-то стряслось в ремонтных мастерских; за дедом выслали машину, велели прибыть через три

минуты. Он вскочил, натянул брюки, прыгнул в сапоги...

Тут мама всегда обрывала рассказ. Говорила: «пусти воображение по следу». Но Сеня не желал пускать воображение по следу. Его раздражало, что мама не расписывает подробности; сам он всегда на подробностях застревал.

— А как дед кричал — словами или просто буквой «А-А-А-А!!!»? — приставал он к маме. — И кто вытаскивал ежовые иглы у него из ноги, ты или бабушка? А потом он хромал? А ёжик хромал?

В общем, сына с мамой объединяла любовь ко всем хвостатым-пернатым, ко всем душевным животным типа собак или кошек. Или обезьян. Или уж, на худой конец, пятнистого удава... Однако даже самого деликатного, самого чистенького поросёнка поселить у них было немислимо, так как домовый комитет запрещал держать в квартирах любых животных.

И потому Сеня с мамой купили на Птичьем рынке трёх цыплят.

Он всю жизнь помнил их имена: До-Ре-Ми, вот как их звали. Как он хлопотал над ними! Как звонко пропевал три этих слога над жёлтенькими пищалками-облачками на тонких ножках До! Ре! Ми!.. До-оре-е-м-и-и-и...

Мама кормила их творогом, двумя пальцами вытягивая и выкручивая белых червячков, и пискуну смешно вцеплялись в них клювиками и тянули каждый к себе. Сене казалось, он уже различает своих цыплят: у них были разные характеры. Самым бойким был Ми: вечно бегал вокруг братьев, вечно вол-

новался, совсем как Сеня, — видимо, боялся куда-то не успеть. Мальчик выпускал их из коробки погуглять, безропотно убирал за ними. *Мы же в ответ-ственности за тех, кого мы ля-ля-ля и до-ре-ми?!*

Однажды эти дурачки угодили в миску с водой и вымокли. Гвалт устроили страшный! Беспокойный и заботливый Сеня придумал, как их высушить. Прижимая к груди коробку с тремя мокрыми комочками, примчался в кухню, включил духовку на слабое приятное тепло, запустил всю компанию внутрь и закрыл. По его расчётам, минут через десять До-Ре-Ми должны были выйти оттуда весёлыми и пушистыми.

Тут в коридоре затренькал телефон — это, конечно, был Тимка Акчурин. Он названивал, когда оставался дома один, и они с Сеней подолгу висели на телефоне, пока взрослые не спохватывались: ну сколько ж можно! Как обычно, они с Тимой заболтались, и времени прошло немало... В общем, Сеня, прямо скажем, слегка подзабыл о цыплячьей сушилке. Вспомнил, когда услышал протяжный зов Полины Витальевны: «Сеню-юша! Сенюш, иди, пирожок дам!» — и почувствовал запах жареной курятины.

Он выронил трубку и заорал...

Хоронили убиенных всем двором. Сеня обернул салфеткой обгорелые тельца, уложил их, как в саркофаг, в свой деревянный школьный пенал, выбрал во дворе укромный угол за трансформаторной будкой и братскую могилу выкопал сам, большой салатной ложкой. До седьмого класса, до переезда семьи в другой район, возвращаясь из школы, мысленно вытягивался в почётном карауле и салютовал погибшим.



Может, папа и не зря называл его психику «пограничной»? Ведь это и вправду не совсем нормально, что из-за одного досадного случая в детстве человек на всю жизнь разлюбил жарко протопленные помещения, вроде бань или саун? Впрочем, в бани он и так не ходил, стеснялся. Но даже оказываясь в тесном и душном пространстве вроде лифта, Гуревич начинал задыхаться; ему мерещился запах горелого мяса, на лбу выступал пот, ладони становились противно липкими... Короче, этажи он всю жизнь предпочитал одолевать как в школе — бегом.

*Между тем летом в Беэр-Шеве случаются особо жаркие дни, когда буквально нечем дышать, и ты думаешь: да это настоящая чёртова духовка, угораздило же выбрать климат! — и даже на работе расстёгиваешь вторую, а то и третью пуговицу на рубашке.*

\* \* \*

Да нет, не единственный то был куриный случай! Была ещё жуткая двойная казнь на даче, в Вырице. Анна Каренина в перьях; куриная тема рока...

Из-за постоянных простуд и ангин на лето родители вывозили Сеню дышать и закаляться. Семья жила на две докторские зарплаты — в сущности, нищенские, — так что весь год копили на летнее оздоровление. На южные моря накопить не удалось ни разу, оставались либо ближняя, с западным налётом Прибалтика, либо дача. Лет пять подряд Гуревичи снимали дачу в деревне Вырица. Впрочем, и Вырица сама — богатое и популярное место дачной жизни, с солидными каменными домами, теплицами да

баньками за высокими заборами (есть что беречь!) — тоже была им не по зубам.

Снимали в Посёлке, а это в самом конце ветки, ехать с Витебского.

С Витебского, самого прекрасного вокзала в мире, — нарядного, как филармония, как дворец, как музей, — поезда шли и в Павловск, и в Царское Село, в вагонах сидели вперемешку и интеллигентные дамы с орешками для павловских белок, и крепкий колхоз в трениках.

Добирались час с лишним, потому что ждали именно электрички до Посёлка: в Вырице железка раздваивалась, и короткий отросток вёл в нужную тьмутаракань.

У электричек нутро всяко-разное: чаще всего деревянные лавки из лакированной вагонки, реже — обитые дерматином мягкие сиденья. Эти очень быстро изрезали, вынимая зачем-то поролон, и тогда сидеть задницей на голой железяке было холодно и жёстко.

В вагонах всегда битком, всегда грязно, вонько (в тамбуре вечно кто-то нассал), к тому же утром в поезд подсаживаются работяги, а те завтракают пивом и курят не в тамбуре, а прямо в вагоне. На Сенино счастье, его начинало тошнить, и папа, выкрикивая: «Ребёнку плохо! Посадите ребёнка, пожалуйста!», проталкивал его поближе к скамейкам. И какая-нибудь сердобольная дама непременно усаживала тощего Сению к себе на крутые колени, где он покачивался, как меж верблюжьих горбов. Или какой-нибудь старичок уминался и предлагал местечко рядом.

У окна сидеть классно: в приспущенную раму бьёт сильный тяжёлый дух: запах шпал, обработанных